

**Б**ыл холодный, дождливый день, временами перепадал мокрый снег. В Джизакском ущелье выл резкий ветер, врываясь в его боковые ответвления, усеянные черными, покрытыми мхом грудями камня. Густой туман сползал вниз по крутым, скалистым скатам. Каменистая, словно природное шоссе, дорога извивалась по ущелью, переплетаясь с быстро бегущим ручьем. На дороге лежал издохший верблюд, вытянув свои длинные, мускулистые ноги, и на нем копошилась воронья стая, каркая и хлопая мокрыми крыльями.

Все смотрело угрюмо и мрачно, наводя тоску и уныние.

Под огромной, режущей туман своими острыми краями скалою давно укрылись два живых существа. Лошадь стояла, понуриив голову, грива у нее скомкалась и слиплась, мокрый хвост путался между ног, все тело дрожало. Человек сидел около, съежившись, уткнувшись носом в верблюжий халат и спрятав на чахлой груди высвобожденные из рукавов руки.

Если бы кто-нибудь из проезжих по дороге бухарцев заметил его, то не сразу узнал бы в нем храброго головореза Юнуску...

Он уже целый день сидит здесь, продрог, голоден, пальцы у него ооченели, а он все сидит и ждет...

Наконец начало темнеть, дождь перестал, но зато стало холоднее.

Юнуска встал, подошел к своему коню; тот как будто очнулся от сна и потрянул ушами, когда джи-

гит влез на седло. Шажком выбрался на дорогу; здесь всадник повернул его к Джизаку, городу, занятому русскими.

Через полчаса всадник повернул влево, поднялся на отлогую гору и опять свернул в сторону. Грунт вместо каменистого стал топким... Юнуска слез с лошади, пошел сам.

Впереди краснели в тумане огненные пятна: это виднелись освещенные окна русской казармы. Юнуска тревожно поглядывал на эти зловещие пятна, вздрагивал, припадал к земле...

Вдали глухо загрохотал барабан: возле казармы били вечернюю зарю.

Юнуска остановился, присел и начал пытливо оглядываться.

Там, где горизонт сливается с небом, протянулась светлая полоска, на ней обозначались черными силуэтами кресты. Юнуска долго ползал по кладбищу, наконец остановился и начал рыть...

Он рыл быстро, тревожно, рыл как собака, чующая под землею спрятавшуюся крысу; рыхлая земля легко уступала его лихорадочным усилиям, и скоро его уже не было видно на поверхности.

Часа два продолжалась подземная работа; наконец она прекратилась. Запыхавшийся, тяжело дышащий Юнуска выбрался на поверхность — выбрался с добычею. Добыча эта была круглая; у добычи этой были глаза, нос, уши, и добычу эту он тащил за коротко остриженные волосы. Выпрямился, положил

около себя голову и самодовольно улыбнулся: «Еще один халат. Я его, конечно, продам. Еще одна тилля... А славная монета эта тилля; сколько на нее можно сделать хорошего... В Бухаре опять будут кормить даром целую неделю. А какой беспокойный народ эти авганы... Нехороший народ... А!»

За плечами его блеснул огонь.

— Эх я его ошарашил! Ахтительно, промеж лопаток!

— Вишь ты, чем промышляет, собачья кость!

— Это он покойничка Савельева обработал.

— А не Макара Кузьмина?

— Нет, тот маленько поправее будет.

— Вот оно дело-то какое!

Два солдата в шинелях, в башлыках встали у свежеразрытой могилы.

— Ну что ж, надоть к ротному?..

— Нет, сначала поди доложь пидьфебелю! Пусть с лопатами придут. Как следует надо могилу!..

— А ты что ж?

— А я посторожу. Нельзя же так открытого его, Савельева, оставить. Вот, голову-то ему верну сейчас.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

**А** обрелись до перекрестка...

Это уже была половина пути. Здесь, на глинобитных приступках, на войлоках и камышовых циновках лежали груды маленьких дынь и оранжевого переспелого урюка; под навесами чайхан возвышались колоссальные, какими-то дорогами доставленные сюда тульские самовары, они испускали целые облака черного дыма. В ноздри бил острый запах горелого кунжутного масла.

Не только места под навесами, но даже вся площадка перекрестка была сплошь загромождена отдыхающими, ни пройти, ни проехать...

— Хошь... Посторонись! — поднял нагайку Шолобов.

— Хошь! Хошь! — надрывался доктор, приподнимаясь на стременах.

— Хошь! — повторяли казаки, протискиваясь вперед офицеров.

Отдыхающие поднялись с земли — стояли теперь сплошной стеною, угрюмо смотрели на русских.

— Джигиты, сюда! — призвал Шолобов.

— Постой, голубчик... Иван Алексеевич, повремени! — заволновался доктор. — Зачем крутые меры?

— Отступить нельзя! — отозвался Шолобов. — Расчистить дорогу! — Это он — подоспевшим джигитам...

Те переглянулись, подняли нагайки высоко над своими шапками, поправились в седлах и... Ринулись на толпу.

Послышались крики, брань, глухое щелканье по вате халатов. Удалось освободить небольшое пространство, по которому всадники, вытянувшись гуськом, выбрались на более просторную дорогу.

[Но, как видно, при всей своей решительности капитан Шолобов вовсе не собирался согласиться с мнением о местном населении, которое доктор высказал рассказом о Юнуске-головорезе. И он рассказывал тоже... О себе.]

Тогда, еще совсем молодым, был разведчиком. В туркменской шляпе, в халате представлялся здешним, своим. Ехал с купеческим караваном последним — и никто не заметил моего отсутствия... А я, видите ли, заинтересовался — не живой жизнью края, а, вдруг, — забелевшими вдали надгробиями. Полюбопытствовал! А караван...

И вот уже в пустыне — один. Целый день — один!

Все песок и песок. Куда ни кинешь взгляд, всюду одни только песчаные бугры. Я еду по гребню бугра, спускаюсь с бугра, передо мною бугор, справа, слева — все те же самые бугры, все одно и то же, до самого горизонта. Выгорела жалкая трава; из песка, там и сям, торчит какая-то щетина.

Давно уже я не встречаю никаких следов, кроме отпечатков сайгачьих копыт. Вот... Недавно тут прошло их целое стадо.

Воды мало осталось: едва хватит, чтобы напоить бедную лошадь. А ведь вчера утром был полный мех, как она дьявольски усыхает.

Мой добрый Орлик славно работает. Вчера он шел целый день, ни разу не ослабив поводья; ночью он очень мало отдыхал, а еще меньше кормился; впрочем, он уже два споткнулся сегодня, надо бы напоить... Нет, лучше подождать, а то после будет слишком велик промежуток: раньше завтрашнего утра вряд ли удастся добраться до Сыра. Так мы называем здесь реку Сырдарью.

А самому-то как пить хочется, так бы целое ведро выпил не отрываясь... Разве один глоточек? Э, какая же она теплая! А ведь как аккуратно завернул мех кошмой!

Что это движется там, вправо? Да это ж верблюды! Тянутся один за одним, качают своими длинными шеями, величаво поглядывая по сторонам... Вон и люди. Ура!

Повернул Орлика к каравану, даже погнал его слегка нагайкою...

Однако ехал, все ехал, а караван — все в том же положении. Потом — заволновался... Да это что же — под облака поднимается? Фу, какая глупая ошибка! Будто не слышал еще о здешних миражах.

В голове шумит, перед глазами все как-то странно прыгает, во рту пересохло... А солнце как будто

неподвижно стоит над самою головою, прожигает насквозь мою шляпу-туркменку, сушит остатки воды — и, кажется, не намерено вовсе спускаться к западу. Хоть бы скорее вечер, передохнул бы немного, а то наконец и мой неутомимый Орлик не выдержит.

...Ах, как приятно вытянуться на кошме после таковой дороги! Солнце наконец закатилось. Какая слабая, тихая ночь! Правда, душновато немного, но это от накалившегося за день песка; вот он скоро остынет, и тогда будет прохладно. Как клонит ко сну!.. Мне еще никогда не хотелось так спать. В песке, чуть не под самым ухом, шелестят ящерицы, неподалеку весело жует и фыркает мой Орлик, — я ему отдал остатки ячменя и последнюю воду. Впрочем, я и сам поел и напился вволю. У меня оставалось еще с фунт мяса, немного попортившегося, но тем не менее очень вкусного, и две бухарские лепешки. Теперь и заснуть не грех, а завтра, даст Бог, доберемся до цели.

Я лежал на спине, пред моими глазами было темное ночное небо, все усеянное такими яркими звездами, что свет их не уступал свету луны, и все вокруг просматривалось далеко. А небо.... Вот север, вот Полярная звезда... Да, это она — как раз на конце хвоста Малой Медведицы. Мне — прямо на нее держаться, и я не собьюсь с дороги.

Но что же это? Ведь я приехал оттуда... Да это же след моей лошади!

Я вскочил на ноги и начал осматриваться. Было жарко, а у меня на лбу выступил холодный пот. Мне не хотелось убеждаться в своей ошибке, но дело было слишком ясно: я приехал оттуда, куда мне надо было ехать; вон чернеет саксауловый корень, которого тогда испугался мой Орлик; эта черная точка как раз по направлению Полярной звезды...

Плохо! Я заблудился.

Вода вся, есть более нечего, впереди неизвестное пространство...

Что ж, не сидеть же на месте!

...Я вдруг понял обширное значение нашего русского «авось»! И быстро поехал вперед. Нырять между наносными песчаными грядами, стараясь придерживаться раз взятого направления, поверяя себя кое-где еще не потухшими звездами и золотистою лентою рассвета на востоке...

Наконец загорелись верхушки барханов, все тени стали прозрачнее, легкий слой тумана начал подыматься. Даль казалась значительно выше, чем она есть на самом деле: все окрестные предметы как-то странно увеличились. Вот виднеются роскошные, высокие кустарники, гораздо выше всадника; подъезжаешь, и вместо кустов — жалкая, высохшая травка, едва достигающая до щиколотки лошади. Шарик сайгачьего помета чернели, словно разбросанные крупные камни. Свернувшиеся в кольца серые змеи

при нашем приближении, злобно шипя, медленно ползли в стороны.

Скоро взошло солнце и озарило все то же однообразное, мертвое море песчаных барханов. Я много проехал, пользуясь утреннею прохладой, но уже начинает припекать. На шею коня уже протянулись от поводьев белые мыльные полоски... Опять бесконечный, мучительный день... Несколько раз делалось дурно; я принужден был слезать и садиться на землю в тени от лошади; я почти потерял голос: если мне хотелось что-нибудь сказать вслух или крикнуть, то это мне стоило больших и болезненных усилий, и вместо чистого звука из пересохшего горла вылетало дикое хрипение. Мучения жажды были невыносимы. Лошадь шла, тупо понутив свою умную голову; у бедного животного дрожали ноги; скоро Орлик упадет от усталости, и тогда — финал...

Вдруг я услышал странный звук, как будто двойные удары молотка. Из-за бархана легким галопом выскочили четыре больших сайгака, ростом с мелко-рослых лошадок. Увидев меня, они на секунду остановились, высоко подскокнули на месте и в один миг уже — за буграми...

Желание пить возрастало с каждою минутою, доходило почти до бешенства. У меня начинался бред; в голове шумело и застилало каким-то странным туманом, словно от опьянения; окрестные предметы стали казаться не тем, что они есть в действительности. Впереди мне все чудились ручьи и озера со сверкающею на солнце поверхностью, хотя не покидало убеждение, что это только кажется; я ясно слышал шум бегущей воды; и что... Орлик мой не лошадь, а лодка, и мне только стоит нагнуться и черпать воду, сколько хочу, что это очень удобно сделать шляпою; я снял ее, и моя туркменская шапка выпала из ослабевших пальцев; я не пытался достать ее, да этого и невозможно было сделать, не нашел бы ее — ничего не видел, позеленело в глазах... Чувствовал, что — помешался, и мания моего помешательства — вода!

Вдруг я почувствовал тяжелый удар в голову, будто бы меня — по темени кто-то — тупым орудием! Перестал видеть, слышать, чувствовать. «Не смерть ли это?» — еще промелькнуло в голове.

...Последняя четверть луны довольно высоко поднялась над горизонтом; яркое созвездие Ориона высоко стояло над головою; на востоке снова протянулась светлая полоска. Рассветало...

С усилием я приподнялся, опершись в песок обеими руками, и сел. Все было тихо в окрестности. Моего Орлика не было видно; глубокие следы кованых ног отпечатались, несколько раз повторялись и перекрещивались на одном месте — лошадь топталась тут же, не решаясь оставить хозяина... Потом — потянулись в сторону и исчезли. Орлик ушел.

Это открытие так меня экзальтировало, что я вдруг вскочил на ноги и осмотрелся. И... Что еще больше взволновало меня? Мне показалось, что песчаные холмы приняли правильные, определенные формы: они превратились в стройные здания сурового индийского стиля. Да, все так... Опять он, как и тогда, когда я отделился от каравана, предстал передо мною — город мертвых, захороненные жилища кочевников<sup>1</sup>. Бледный свет луны скользил по округлостям куполов, рисовал на узорчатых стенах силуэты соседних построек и, скользя по боковым пилястрам фронтонов, раскидывал на соседних холмах длинные темно-синие тени. Кое-где ослепительно сверкали белые, эмалированные украшения; сводчатые двери и окна сияли темными пустотами; на золотистом фоне разгорающегося востока вырезались зубцы стен, и сквозили каменные решетки.

Я чувствовал крайнюю слабость и, едва сделав несколько шагов, принужден был опуститься на землю. Голова была свинцовая, глаза слипались, меня сильно клонило ко сну: это были последствия дневного солнечного удара.

...Меланхолический звон, усиливавшийся с каждой минутой, поразил уже было ослабевший слух. Звон приближался; он несся с противоположной стороны, из-за надгробного города. Я увидел людей. Они ехали верхом, один за другим, медленным шагом; на них были остроконечные киргизские малахайи, за плечами ружья, а у двоих длинные пики. За всадниками, раскачиваясь, шли два верблюда, у которых на шеях навешаны были бубенчики, производившие этот раздражительно действующий, монотонный звук. На первом верблюде (высоком, почти черном вожаке) поперек вьючного, коврового седла качался какой-то длинный предмет, тщательно завернутый в ковер и окруженный веревками; на втором — большие, полосатые переметные сумы и свернутая туркменская палатка. За верблюдами еще ехало три всадника, и у последнего в поводу еле тянулся Орлик.

Я понял, в чем дело: этот караван был похоронный кортеж, прибывший, может быть, за двести или триста верст к своему родовому кладбищу<sup>2</sup>. Продолговатый предмет на первом верблюде — был сам покойник.

<sup>1</sup> Номады (собственно кочевники), кочуя по степям, имеют (каждый род) свое постоянное кладбище. Только самые беднейшие хоронят своих покойников на месте кочевки.

<sup>2</sup> Довольствуясь переносными кибитками, киргизы своим умершим воздвигают массивные жилища, и часто в выжженной солнцем степи встречаются эти молчаливые города, где под глубоким слоем песка сохнут (а не гниют) их почившие обитатели. Скорее всего, эти постройки — признаки бытовавшей некогда в этих краях буддийской веры.

Киргизы скоро отыскали меня; они встретили Орлика, и зная, что всадник не может быть далеко, зорко оглядывали окрестность...

Едва я заметил большой мех с водою, висающий на одном из верблюдов, как жажда возобновилась с страшною, мучительною силою; я непременно разорвал бы пальцами тонкую козью шкуру турсука, если бы сильные руки не усадили бы меня на песок с словами, которые я понял так: «не горячись, приятель, еще успеешь». Потом мне дали маленькую чашку воды, не более одного стакана, и, несмотря на все мои просьбы дать еще, отказали наотрез самым нецеремонным образом. Только через час дали мне еще одну чашку и, уже к вечеру, после того, как я пожрал (я не могу назвать иначе это бешеное, голодное глотание полусырого мяса) данную мне обильную порцию баранины, мне позволили напиться вволю.

К вечеру окончен был незатейливый обряд похорон. Я все время спал как убитый. После заката солнца мы выступили, и только на третий день я увидел вдали синюю ленту обросшей камышами Сырдарьи.

[Капитан Шолобов окончил свой рассказ и, хотя...] Воздух вокруг был по-прежнему неподвижен, но, будто ветром, донесло звуки уже, видимо, недалекого праздничного сборища.

Прежде всего, это были удары барабана, затем ркотание литавр и уже угадывалось громоыханье бубнов и — еще не гул, а как бы пока шелест множества людских голосов.

Проезжали аулом, который, видимо, примыкал уже непосредственно к святому месту, когда вдруг слышался отчаянный старческий крик...

Все невольно обернулись.

На плоской крыше, свесив босые ноги, сидел седой, как лунь, старик, в громадной светло-зеленой чалме. Он неистово размахивал руками и охрипшим от напряжения, разбитым голосом кричал что-то...

— Наль, что ему надо? — спросил Шолобов.

Третий офицер, которого называли Налем, приостановил своего красивого золотисто-бурого жеребца, прислушался...

— Он говорит... Он ругается... Посылает нам проклятья, грозит, что Ишан разобьет нас параличом за то, что мы едем в его владения!

— Гм! А я думал, что-нибудь серьезное! — махнул рукою капитан.

...И он, капитан Шолобов, по старшинству своего звания командир всей этой — из офицеров, казаков и джигитов — группы, а также старший джигитов Садык, подъехавший вместе с третьим офицером во время криков фанатика-старика, — будто бы не заметили, как один из джигитов после этих угроз стал по немногу отставать (то, как небрежно, походя, бросил

ему старший джигит несколько слов, было в глазах возможных соглашениях чем-то не очень важным, не приказанием); затем он, этот джигит, тихо повернул коня и, оглядываясь (мол, не заметили ли русские эту его ретировку?), поехал назад.

А доктор, разозлившись от таких пожеланий старика, закричал:

— ...Сам сдохни! Сто типунов тебе на язык, подагру в обе лапы и тифус-морбус в рожу! А не повернуть ли назад, братцы?

— Как назад?! — встревожились — сначала Наль, и поддержал его Шолобов. — Отступить — значит, в их глазах, быть достойными того, чтобы быть побитыми камнями...

И вся кавалькада ускорила шаг, пробираясь вдоль стенки, обгоняя шархнувшуюся в сторону вереницу вьючных верблюдов.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Крепкий мышцею,  
Чтитель мудрых духовных вождей,  
Любовь и тайная дума дев,  
Гроза и ужас врагов,  
Наипаче же славный —  
Искусством править конями...*

**Т**ода три назад к нам в батальон прибыл из Петербурга новый офицер, тогда еще — подпоручик...

Явился он к командиру батальона — такой щеголеватый, чистенький, в мундире с иголки и чуть разве что не в лаковых сапожках. От его носовых платков из тонкого батиста и даже от безукоризненной белизны перчаток пахло духами; а сам он был такой хорошенький, словно девушка переодетая; да и движения его все были ловкие, грациозные, а голос — симпатичный контральто, словно у ребенка, который пытается басить, чтобы показать, что он уже совсем взрослый.

Подумали мы сначала, увидав такую куколку-цацку, что это изнеженный барич, богатый маменькин сынок, белоручка, которому у нас скоро все надоест и опротивеет... Да и не под силу ему будет наша суровая жизнь.

Но скоро мы убедились в совершенно противном. Наш новый сослуживец оказался таким молодцом, таким славным, лихим товарищем, что менее чем в месяц завоевал и общую любовь, и даже общее уважение. Ибо уже скоро нельзя было к нему отнестись как к неопытному новичку; наоборот, без риска можно было дать какое угодно назначение. Новый товарищ наш на лету схватывал и усваивал боевой опыт, он явно и до своего назначения сюда отлично владел оружием, а конем — так даже на удивление местных

джигитов... Все это в нем увидели мы в действительности нашей боевой жизни, нам здесь было не до ма-невров.

Воспитывался он, уж не помню в каком, только в одном из самых привилегированных заведений, чуть ли не в пажеском. Папаша у него, как говорил он, был очень богат, конюшня их в Петербурге полна была хорошими лошадьми. Свой манеж, свои берейторы; чуть не каждое утро ходили учителя фехтования, и вообще воспитание давалось ему какое-то средневековое, рыцарское, только с тою разницей, что и на-уками с ним занимались усиленно.

Говорил он на иностранных языках превосходно и как-то даже обмолвился, что ему знаком древнейший из письменных языков Индии — санскрит... Вообще, у него в этом отношении были замечательные способности: менее чем через год он уже свободно владел несколькими местными наречиями общетюркского языка, объясняя нам, что последним тоже интересовался еще в Петербурге.

Он привез много книг о древней Азии, все больше об Индии. Иногда, по вечерам, мы собирались у него, и он читал нам из этих книг или рассказывал сам. Например, любопытно, что самые древние из жрецов-драхманов особым уважением пользовались потому, что умели прочитать на папирусе о том, что было очень давно, написать, что происходит сейчас и что будет... Когда брахман, прежде чем начать писать, ставил на пергаменте крест, все, кто был рядом, даже сам царь, вставали, ибо этот знак, крест, означал Слово! Которое напишет, скажет сейчас жрец...

Особенно же любил Сергей Николаевич «Сказание о Нале» из древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Нас, офицеров, всецело занятых походной жизнью холостяков, особенно привлекало повествование о супружеской жизни героев этой поэмы — жизни, наполненной тишиной и радостью духа, и то, как этот индийский царь, *Наль*, написав благодарственные — за такую счастливую жизнь! — слова Богу на могилах своих родителей, благоговейно *ожидает* эти же слова на месте будущего собственного упокоения:

И вот теперь на вечере моем  
Рука жены и дочери рука  
Еще на легкой жизненной странице  
Их пишут для меня, дабы потом  
На гробовой гостеприимный камень  
Перенести в успокоенье скорби,  
В воспоминание земного счастья,  
В вознаграждение любви земная  
И жизни вечная на упованье.

...Впрочем, тем более потом мы, слушатели этой поэмы, с волнением следили за выпавшими ее героям тяжкими испытаниями и мысленно преклонялись

перед святой верностью. Налю его супруги Дамаанти. Кто-то из нас даже сравнил ее с женой Одиссея Пенелопой — и был вознагражден благодарным взглядом тещи.

Правда, штабс-капитан Костецкий не преминул связать и здесь.

— Уж этот мне символ веры — сорокалетняя Пенелопа. По тем временам — старуха, и кто на нее зарил-ся целых двадцать лет? Вот и эта ваша Дамаанти...

Но к ехидству этого своего сослуживца уже привыкли, так что доктор одобрил в поэме слова супруги индийского царя Наля: «Знай, что нет для души и для тела вернее лекарства — верной жены».

С тех пор и стали мы называть Сергея Николаевича Налем. Сначала — в шутку, однако новое его имя ему, видимо, пришлось по душе — и пошло с тех пор: Наль да Наль... Скоро, пожалуй, только в списках останется: «поручик Рубан-Опальный, Сергей Николаевич, сын отставного гвардии генерала, из дворян Тамбовской губернии, родился в 18... и пр.», как оно полагается — в составленном по форме послужном списке.

Сергей Николаевич регулярно снабжался из дома очень хорошими материальными средствами, но его богатство, особенно по сравнению с состоянием большинства офицерских кошельков нашего отряда, периодически только наполняющихся остатками от вычетов из третнего жалованья<sup>1</sup>, нисколько не тяготило товарищей, не кололо беднякам, так сказать, глаза. У него было удивительно много такта в этом отношении.

А натура Наль была увлекающаяся — порох да и только! Он был вспыльчив, но зато и добр беспредельно, а главное, после вспышки обнаруживал такую готовность к примирению, так искренно извинялся перед тем, на кого было обрушился, что никто даже и не обижался, а только скажут ему, бывало: «Ну, остынь, кипяток!» Тем дело и кончалось.

В свою же очередь, новый товарищ нашего немногочисленного боевого кружка обладал удивительной способностью привязывать к себе, подчинять других своему миротворному влиянию. Поссорится ли кто иной раз друг с другом насмерть — Сергей Николаевич так просто и естественно находил точку примирения, так умел поставить дело, что, смотришь, враги насмерть уже чокаются стаканами и целуются, да еще говорят при этом: «Вот мы с тобой глупостей наделали бы!» Это они о своей было дуэли...

В то время храбростью-то нас удивить было нельзя. Храбрость — или, называйте как хотите, смелость, отвага, нервная дрессировка, — все это у боевого офицера и должно было быть. Но у нашего нового товари-

ща это качество проявлялось в такой красивой форме, что им нельзя было любоваться. Когда под неприятельским огнем он, не прячась в укрытие, спокойно наблюдал за происходящим, в этом не чувствовалось ни малейшей рисовки, ни признака желания бравировать; а когда ему кричали: «Спрячься! Чего торчишь на убой!», он так же спокойно следовал совету.

Ловко и лихо владея конем и оружием, он поражал своими энергичными и смелыми вылетами из рядов, и всегда это выходило кстати, как будто и нужно было так, а не ради джигитства и удали. Но тогда — ради чего же?.. Ведь кровожадным его назвать было нельзя: зачастую, как раз после таких его действий, наилучшим образом повлиявших на исход всего боя, дуло его оружия оставалось незакопченным!

Однако... При всех добрых и приятных качествах Наля, в нем было и что-то странное, заставлявшее не раз задумываться нашего доктора, одаренного большою проницательностью в постановке диагноза.

Раз с Налем был случай, который, положительно, привел нас всех в восторг, а вслед за тем — в крайне беспокойное недоумение...

Дело происходило так.

Рота, в которой он в то время служил, попала в западню, была атакована совершенно неожиданно. Массы конных вынеслись из балки, охватив нас могучим, энергично надвигавшимся кольцом. Рота быстро свернулась в каре и встретила врага залпом. Но ведь тогда у нас не было скорострелок, ружья заряжались с дула, шомполами, бумажными патронами, повторять этот залп не было уже времени. Когда рассеялся дым, конские морды с раздувающимися ноздрями, с глазами, вытаращенными от ужаса, а за ними массы азиатских загорелых лиц и сверкающих на солнце кривых сабель показались перед самою щетиною наших штыков!

Несколько всадников прорвали ряды и уже рублились внутри, падая один за другим под ударами штыков и прикладов. Завязалась было отчаянная, жаркая рукопашь (правда, выйдя из нее на несколько сажень, последний взвод в это время все заряжал и бил залпами). Рота удержалась, хотя и не на месте, продвинулась назад, шагов на сто...

Снова развернулось пустое пространство, отделяющее нас от врагов, а те, правильно строя ряды, готовились повторить нападение.

Опытный офицер, командир роты Шолобов заметил недалеко неглубокий суходол, усеянный крупными валунами; оттуда, конечно, легче было отстреливаться. И вот по его команде рота начала медленно отступать по указанному направлению, производя на ходу пальбу рядами по было высунувшимся там...

Суходол-то мы заняли, но тем временем подошла к неприятелю и пехота, и новые массы кавалерии...

<sup>1</sup> Выдавалось сверх месячного три раза в год.

Больше того: вдруг из-за кургана влево появились пестрые значки на древках и между ними — клинообразный значок зеленого цвета с черным конским хвостом под копьем и медным шаром наконечника. Хорошо нам знакомый значок самого муллы Алем-Кула!

Дело, значит, предстояло нешуточное. Мы имели перед собою опытного полководца — и подсчитали, что с ним не менее шести тысяч. А против него — только одна рота!..

Впрочем, заметив и оценив по достоинству нашу, занятую без него позицию, мулла Алем-Кул решил не рисковать более своими людьми, взять нас, что называется, измором. А так как подкрепление к нам могло прийти нескоро, да еще надо было ухитриться прежде уведомить о нашем положении, что признавалось почти невозможным, то положение оказывалось незавидное. Это, конечно, сознавали ясно не только офицеры, но и каждый солдат, и на всех лицах можно было ясно прочесть одно решение бывалых туркестанцев: «Нехорошо попались — так хорошо надо помирать!»

И началась известная в военных летописях, а у солдат перешедшая в былинку четырехдневная осада скопищами Алем-Кула горсти «белых рубах» на балке Ак-Булак.

Так как раз во время этой осады и совершился тот загадочный случай с нашим товарищем, с Налем...

Засели мы за валунами, подработав себе немного и искусственное закрытие (конечно, далеко это было не траншеи), враги заняли тоже хорошие позиции, облежавшие нас теперь уже со всех сторон. А разделяла нас накаленная солнцем серая, каменистая полоса... И на этой полосе среди лежащих в пестрых, цветных одеждах ярко выделялось несколько тел в белых рубахах. Их изуродовать еще не успели, то есть головы были на своих местах, а теперь врагам уже трудно было выполнить над павшими этот свой обычай. Тела убитых оказались под защитой наших ружей, пытавшиеся подобраться к ним немедленно платились за подобные попытки жизнью. В свою очередь, и нам нельзя было добраться до убитых своих товарищей, так как расстояние между ними и вражескою линией было вдвое меньше нашего.

...Затихло пока. Не стреляют наши — не дымят и гребешки вражых балок. Бывает иногда так, минутами... Солнце палит всюю, заливая жгучими лучами и живых борцов, и эти трупы между ними, и золото цветных, шитых халатов, и «белые рубахи», лежащие ничком, загорелыми затылками вверх.

И вот, вдруг, одна между ними «белая рубаха»!.. Да, солдат начал шевелиться, приподнялся на локоть, и... Бледное лицо, с кровавою полосой на лбу, обернулось в нашу сторону.

Глухой ропот пронесся по рядам. Тихо, чуть слышно, но в этом ропоте послышалось ясно слово «вылазка».

— Лежать! — раздалась команда командира роты. — Не смей!

Ропот стих, закончившись чьим-то безнадежным: «Э-эх!»

А один солдатик, сложив руки около рта рупором, каким-то пронзительным, почти детским голосом крикнул:

— Найденов! Ползи, коли дорога голова!

Крик этот, очевидно, долетел до слуха несчастного, ведь — *голова!*.. Он сделал страшное усилие, встрепенулся всем телом, словно рыба, выброшенная на берег, прополз шага два и... Упал лицом в землю.

Увидели этого, оказалось, живого, русского и там... Крик досады и злости вырвался из-за гребней бархан. Несколько бойцов выскочили с обнаженными саблями, но не добежали: загремели выстрелы...

Опять стихло. Медленно, томительно медленно в безветрии рассеивался пороховой дым.

— Эвось, трое там остались... А и не достигли найденовой головы. Слава Те Господи! — успокоительно прогудело по нашей позиции.

Да, пока что те не достигли. Но что-то с ним, родным, будет, как падет ночь? Ведь он там ближе к ним вдвое, чем к нам...

И странно! Общее положение словно было забыто; главная тревога отошла на второй план, все ступевалось перед этим раненым Найденовым. Роковым вопросом дня стала судьба оставленного солдата.

А солнце близилось к западу, и синеватые тени камней удлинялись и удлинялись, резко очерчиваясь на покрасневшем фоне накаленных песков.

...Наступит ночь. Под ее покровом защита этого раненого — да и защита от поругания тел павших товарищей будет немислима.

И это все мы понимали, все как один.

— Эх, Найденов, Найденов! Пропадет твоя голова! — послышался знакомый голос того же солдатика. — Земляк ведь, — как бы объяснил он свое исключительное участие. — Мы с ним одной волости!

Тоскливое волнение овладело всеми.

Медленно, страшно медленно спускалось солнце, обливая кроваво-красным, пожарным светом «белые рубахи», неподвижно лежащие на песке. Особенно же рубаха Найденова все ярче и ярче обрисовывалась на своем месте... Или, вернее, глаза наши особенно остро различали ее, между грудями одежд и красных бешметов регулярных пехотинцев муллы Алем-Кула.

Кругом воцарилась такая тишина, словно здесь не было ни одной живой души или оба стана подчинились волшебному оценению.

Наль встал, расстегнул пояс с револьвером, положил его на камень; затем отцепил шашку... И не успели спросить его даже, что он собирается делать, как уже расстояние шагов около десяти отделяло его от нашей позиции.

Он шел, не торопясь, твердо и в то же время как всегда грациозною походкою — шел прямо по направлению к раненому.

И ни одного выстрела ему навстречу!.. Только по всему гребню вражеской позиции появились изумленные головы в чалмах и косматых шапках...

А Наль все шел.

Вот он уже около Найденова. Вот наклоняется, сильным движением поднимает его под мышки, видимо, хочет вскинуть на плечи, — трудно, невозможно. Он идет назад; ноги несчастного волочатся по земле, поднимая густую, красноватую пыль, голова беспомощно свесилась. Из груди раненого — хрип и стоны...

Наль идет очень медленно, очень! Невыносимо медленно!.. Он словно вовсе не подвигается вперед.

— Скорее же! — крикнул кто-то меж нами.

— Скорее! Скорее! — слышались задыхающиеся от нетерпения голоса.

И эти голоса разом нарушили оцепенение противной стороны. Там раздались вопли, подхваченные тысячами голосами, треснул выстрел, другой, третий... загремела беспорядочная, торопливая пальба; некоторые даже повыскакивали с саблями в руках...

Но уже было поздно! И спасенного, и спасителя подхватили десятки рук и буквально внесли в окопы.

Капитан оставался все время на своем посту, внимательно следя за клубами дыма и вспышками вражеских огней. Он словно не замечал даже подвига своего товарища. Только, когда стемнело уже окончательно и, теперь уже, по азиатскому обычаю, на всю ночь стих боевой огонь, отыскал Наля:

— Как же это ты так... голубчик?

Только и сказал это капитан, и, заметив утомленную, болезненную позу Сергея Николаевича, заботливо добавил:

— Да ты не ранен ли?

— Нет... только устал... Очень, очень устал! Со мною что-то странное творится... Со мною...

Но Сергей Николаевич не договорил, что такое с ним, прикрылся с головою шинелью...

Постоял-постоял над ним капитан: «Что с ним такое?»

— Сережа, а Сережа!.. — Нашупал его руку под складками шинели.... Рука Наля ответила ему покойным, дружеским пожатием.

«Странно!» — подумал капитан, и неслышно шагая в своих мягких, татарских сапогах, пошел по линии, пристально всматриваясь в непроницаемую темноту южной, удушливой ночи.

После уже, спустя месяца два, а может, больше, доктор нам очень обстоятельно и толково объяснил все происшедшее. Он говорил, что часто решительность и нервная отвага — он это называл особенным развитием и чувствительностью нервной системы — очень это у него понятно выходило, — так вот, эта решительность — подчиняет... Примеры приводил: например, встречу с львом — араба, когда оба долго смотрели друг другу в глаза, и наконец лев не выдержал, повернулся и ушел. Наль тоже тут был и со многим соглашался. Но тут вышел странный казус...

Попался в плен один из свиты Алем-Кула, он именно командовал пехотой под Ак-Булаком. Так вот, он узнал Сергея Николаевича и спрашивал его: кто это другой с ним был, когда тот за раненым ходил? Такой высокий старик — в длинной белой одежде и в темной чалме... Он все руку поднимал и грозил им, а сам смотрел на них так, что они — замерли... И свет шел от старика длинным лучом, прямо к ним, на их позиции... а кругом вдруг так все потемнело, что кроме этого луча и чудного старика они больше ничего не видели. Потом, когда у гяуров закричали, старик пропал. И мы, мол, тоже очнулись, да уже поздно было...

Вот о чем спрашивал пленный... Потом, когда подошло подкрепление, все для нас окончилось благополучно. Но уж тут и доктор ничего не мог ему ответить.

— Галлюцинации... — начал было доктор.

— Так и ты его видел? — спросил пленного Наль, положив ему руку на плечо.

— Видел. И другие наши видели... Вот так, как тебя теперь вижу... — тихо, заметно оробев, с дрожью в голосе произнес пленник.

Он отошел подальше от Наля, забился в самый угол шатра и не выходил оттуда до вечернего намаза, во время которого молился особенно усердно, выговаривая изречения, охраняющие от злых чар и всяких заклятий. Это нам сообщил Сергей Николаевич, но и сам он расстроился что-то... Рассказывал, что помнит только минуту, когда шагнул за гребень, а больше ничего. Смутное что-то, словно во сне, давно забытом. И помнится — и ничего восстановить нельзя. Вопрос пленного как будто согласовался немного с этим сном — как раз это его и смутило...

Но дело-то в том, что после ак-булакского сиденья у нашего любимца была жестокая горячка, и длилась эта проклятая болезнь больше месяца; а в его голове, как объяснил доктор, конечно, все перепуталось: и явления горячечного бреда, и кое-что, может быть, из действительности... И разобраться во всем этом было невозможно. Да и нет теперь никакой надобности.

С этим мы все охотно согласились. А все-таки во круг Наля с этих пор образовалась какая-то дымка таинственности. Нам казалось, что если и бывают на



земле чародеи или что-нибудь в этом роде, ну во, как в сказках, так это именно так и начинается... Солдаты же прямо называли поручика Рубан-Опального заговоренным, слово такое знающим... Но, мол, слово это помогает до тех пор, пока не открыл его, это слово, другому. А открыл — так и конец! До первой же пули. Ну да солдаты, конечно, все объясняют по-своему.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

**Н**а невысоком холме, с одной стороны обрывистом крутом, с другой пологом — старая полуразвалившаяся мечеть, окруженная, словно гнездами ласточек, бесчисленными глинобитными пристройками, — видимо, в базарные дни лавками для товаров и приютов богомольцев.

Под обрывом протекал арык, наверное, глубокий — разветвлялся ниже на множество отдельных оросительных канавок. Священная роща начиналась от подножья холма и тянулась до самой дороги, покрывая своей сплошной сенью значительное пространство. Столетние туты и карагачи раскинули зонами свои роскошные кроны, а их нижние ветви пестрели подвешенными приношениями богомольцев: цветными тряпками и лентами, платками и разными, в виде амулетов, кустарными безделушками.

Сама мечеть, построенная, по народным преданиям, еще задолго до Тимуридов, обращена была своим высоким фронтоном на дорогу. На фронтоне остались следы роскошной древней майолики. Можно было даже разобрать кое-какие изображения священных изречений и воззваний.

Колоссальная, резная по дереву, дверь, целые ворота, вела внутрь мечети. Окованная железом, она была растворена настежь, и в глубине мечети под темным, закоптелым сводом виднелся подвешенный на цепях громадный медный котел, весь — в тонкой гравировке. Над дверью, на длинном древке, неподвижно висела тяжелая, истрепанная временем ткань... А над нею — длинный конский хвост и несколько медных пустых шаров. Они, когда кто-то проезжал мимо, впрочем, наверное, при всяком движении воздуха, производили странные, унылые звуки... Это было когда-то грозное знамя самого Дауда! Обошедшее, по преданиям, полмира вместе с великим полководцем Тимуром.

Ниже, по эту сторону арыка, расстилалась большая открытая площадь для конских ристалищ и других требующих простора забав. Кругом к этой площади примыкали сады и сакли соседних обывателей, обнесенные глинобитными стенками. У самой дороги расположились несколько просторных караван-сараяв — с жилыми помещениями и навесами для лошадей и арб.

Едва только офицеры подъехали к месту празднества, встретив им, из толпы, — двое слуг Ибрагим-бая...

— Таксыр, просим пожаловать к баю! Сюда... За нами идите, — сказал один из них, кланяясь Шолобову<sup>1</sup>.

[Однако Наль заявил, что хочет взглянуть на конные состязания, и, несмотря на протесты доктора, все отправились на место ристалищ...]

На русских здесь обращали внимание гораздо меньше; все смотрели на всадника и его коня, героев скачек, которые, к сожалению Наля, уже состоялись. Ожидалось теперь состязание, называемое байга.

Впрочем, и русских здесь пока больше интересовали не всадники, а их кони. И конечно, особенно — конь победителя скачек...

Конь, как вроде, стоял спокойно. Изогнув черную, как будто покрытую атласом, тонкую шею. Несмотря на эту монументальную неподвижность, каждая жилка, каждый нерв кровного коня дрожали под тонкою кожей. Большие черные глаза искрились, белые зубы звучно грызли железные удила, и густая пена ключьями падала на землю. И всадник, и конь хорошо выходили на состязание: ничего лишнего, мешающего скачке, не было ни на том ни на другом. Тонкая ременная уздечка без всяких украшений опутывала сухую головку коня, узорные попонки были сняты. Седло было одно легкое, деревянное, выкрашенное яркою краскою и отделанное узорною позолотою.

Тем временем, по всему видно, уже готовилась эта самая байга...

В поле выехал всадник... Лошадь под ним была серая и такая же старая, как сам хозяин. Старик перегнулся и еле держал за задние ноги козла, из перерезанного горла которого струилась на землю кровь. Однако всадник этот скакал, видимо, привычно — легким галопом, и уже вскоре еле пестрел вдали его халат.

За ним — видимо, уважаемым всеми аксакалом, не слишком его нагоняя, тесным полукругом скакало человек пятьдесят. Как видно, все они там жадно следили за козлом — еще, наверное, теплым... Ожидали момента, когда аксакал бросит его на растерзание.

Наконец старик выпустил из рук козла и выехал из круга на свое место на небольшом, вправо от зрителей, курганчике.

С гиком кинулись всадники на добычу! Сбились и перепутались в густой куче; серое облако пыли поднялось над свалкой, закрыв собой и коней, и всадников. С минуту эта толкотня происходила на одном месте. Центром служил несчастный (по реплике

<sup>1</sup> Таксыр — хозяин; иногда, при обращении к уважаемому человеку, господин (тюркск.).

доктора) козел, за которого десятики рук уцепились с остервенением. Однако этой язвительности своего товарища никто из русских не поддержал, все следили за этим ристалищем с пониманием и интересом.

Первым вырвался из конной толпы на чистый воздух всадник, которого зрители признали сразу. И во все, кажется, не по цвету его халата (в красных были многие):

— Юсуп! Юсуп!..

Как вдруг опять стало тихо, и только один кто-то крикнул другое имя — опять же, кажется, не для кого, а так... просто не вытерпел:

— Дост-Магомет!

Этот держался в стороне от общей свалки.

— И всегда он так, этот Дост-Магомет, в борьбе общей не участвует, сил не тратит, а сразу — на победителя! — с явным сочувствием к Юсупу пояснил офицером Садык, старший над сопровождавшими их джигитами.

В самом деле. Всадник, названный этим именем, вытянул плетью своего рыжего и пошел наперерез черно-пегому жеребцу победившего в общей схватке Юсупа. Тот, однако, вовремя заметил нового соперника, перекинул козла другому всаднику, державшемуся рядом, с которым, наверное, еще накануне условились они быть на байге товарищами. Дост-Магомет не заметил сначала этой проделки и налетел на Юсупа, а товарищ того успел уже с козлом удрать... И поскакал к курганчику, где уже приготовился его приветствовать аксакал-судья. То есть, конечно же, Дост-Магомет погнался и за ним, однако успеть нагнать было уже невозможно.

Как вдруг... Никто еще и понять ничего не успел, а Юсупов товарищ — на земле, и лошадь тоже... Она даже перевернулась через голову...

— Видать, в сурочью нору угодила! — еще раньше, чем тишина взорвалась криками, отозвался один из казаков. — Сломала, почитай, ногу-то...

В то время как неудачливый всадник полетел в одну сторону, призовой козел отлетел в другую и, с маху, на всем скаку, был подхвачен с земли этим Дост-Магометом. Действительно, по всему было видно, наездником был он таки замечательным! И... хитрым.

А тут опять подошли к офицерам слуги Ибрагим-бая:

— Таксыр Ибрагим-бай благодарит Аллаха за то, что он не изгнал из вашего сердца благого желания почтить его ковер своим посещением! — выкрикивая нараспев, произнес другой.

— А где же этот самый... гм, ковер? — любопытно спросил доктор.

— За нами просим пожаловать!

Слуги побежали вперед, расталкивая народ довольно бесцеремонно. Всадники тронулись за ними.

По мере проезда русских узбеки стихали, прерывая свой разговор, смотрели с любопытством; некоторые, видимо, боролись между робким желанием подняться для почтительного поклона и сохранением презрительной важности. Но так как слуги Ибрагим-бая и джигиты русских слишком по-своему приглашали к почтению, то последнее осилило...

В одном месте, чтобы пробраться к узенькому мостику через арык, надо было потревожить целую компанию, расположившуюся вокруг бродячего старика-сказочника. Наль было остановился, чтобы послушать тоже, но рассказчик замолчал и прикрыл лицо полою своего ветхого халата.

*Ковер* этот (на самом же деле — много ковров и стеганых ватных одеял) был разложен под густою тенью дерева и высокого навеса, натянутого на распиленных красками кольях. На коврах грудями лежали шелковые цилиндрические подушки; посредине стояло десятка два медных и глиняных блюд с урюком, фисташками, сушеными фруктами и разными азиатскими лакомствами; в стороне, неподалеку, поднялся густой столб смрадного дыма: там, на угольях догорающего костра, чернел громадный котел с пловом, прикрытый деревянной доскою, а поверх еще конскою попоною, дабы рис упрел хорошенько.

Несмотря на солидные размеры котла, полного до краев, тут же, на привязи, стоял баран; тупо глядел он на огонь и моргал белыми ресницами при каждом резком звуке подвостриваемого о камень ножа...

Сам хозяин, красивый, средних лет мужчина в ярко-желтом шелковом халате и шалевом тюрбане, двинулся к прибывшим, упер локти в живот — и в такой именно позиции стал поочередно пожимать между двумя ладонями протягиваемые ему руки гостей.

— Вот мы к тебе, Ибрагим, и приехали! — сказал доктор, расправляя затекшие от верховой езды ноги.

— Очень рад, очень рад! Я даже заболел, думая, что вас что-либо удержит от вашего благого намерения. Но узнав, что вы благополучны в пути ко мне, вновь выздоровел, и душа моя просияла счастьем!

— Эко поет цветисто! — вполголоса заметил капитан Шолобов.

А сказал он, Шолобов, другое:

— У вас тут, бай, хорошо! Пожалуйста, чаю и кальян!

Впрочем, он, Шолобов, русский офицер, тут же и устыдился этих своих слов: знал же, что здесь, на Востоке, это непрменный ритуал — такое именно красноречивое приглашение гостей.

Один из прислужников, красивый мальчик в догополой красной рубашке и с мелкими косичками, выбивающимися из-под вышитой золотом тубейки, стремительно кинулся исполнять эту просьбу гостя.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

**Н**аль подошел к одиноко здесь стоящему тутовому дереву, слегка привалился к стволу и, скручивая папироску, задумчиво всматривался вокруг.

Скоре он заметил, что в этих пестрых толпах, муравейниками кишевших вокруг, стало прямо на глазах происходить что-то странное...

В самом деле. Вопреки острому любопытству азиатов при виде чего-нибудь нового, толпы не только не сгущались вокруг праздничной, сулящей бесплатное представление ставки Ибрагим-бая, но, напротив того, с приездом русских кольцо, охватывающее ставку, становилось все жиже и жиже, и скоро образовалась совсем пустая полоса, расширявшаяся с каждой минутой.

Так что в острых, подвижных чертах лица Ибрагим-бая появилось беспокойное выражение; раза два он, будто нечаянно, пытался глубже запрятать за пазуху халата свою серебряную медаль на Станиславской ленте. Жалованную недавно русским генералом — а та, как назло, так и выпячивалась вперед, усиленно сверкая на солнце своим светлым диском.

«Как от зачумленных шарахаться начали, — отметил для себя Наль. — Кто-то их здесь настраивает...»

— Чего это они? — заметил странные вокруг изменения и капитан.

Только сибарит-доктор не замечал ничего, кейфуя на мягких подушках и усиленно налегая на угощение.

Общую праздничную молитву — из боязни, что под напором масс мечеть окончательно развалится — сотворили под открытым небом. Затем в разных местах площади прямо с молитвенных ковриков многие полезли на крыши саклей и на деревья, чтобы таки увидеть те представления, что были отгорожены для взимания платы.

Празднество — после дневного базара, конных состязаний и общей молитвы — вступало в свое живое течение. Снова рокотание литавр, дробь тамбуринов, завывание труб и резкие выкрики машкарабазов...<sup>1</sup> За стенами высокой сакли (вход в нее был платный) захлопали в такт плясунам несколько десятков мозолистых рук.

А когда люди Ибрагим-бая, очистив от мусора метлами значительное пространство перед ставкою, стали расстилать особенные ковры для представления в честь дорогих гостей, то нашлись все-таки те, кто, побуждаемые страстным желанием посмотреть тоже на даровое зрелище, подвинулись шагов на десять и тотчас же опустились на землю. А на плоских крышах ближайших саклей появились многие головы... И даже

от ближайших деревьев послышался треск сучьев, не выдерживающих непосильной тяжести.

Здесь сумерки бывают коротки; густой мрак ночи быстро сменяет собою яркий свет дня... Слуги Ибрагим-бая начали заботиться о ночном освещении.

Соорудили невдалеке две колоссальные треноги из сухих жердей, на них укрепили котлы с кунжутным маслом и напитанными в нем ватными оческами; кроме того, притащили несколько десятков бумажных фонарей и расставили их вокруг ковра-арены. На край которой уже уселись в ряд, положив перед собою свои незатейливые инструменты, четыре музыканта.

Ближайшими зрителями готовящегося представления были, кроме русских офицеров и их казако-джигитского эскорта, другие гости и, собственно, слуги Ибрагим-бая; то есть *своих* здесь собралось человек пятьдесят, из них более половины вооружены.

Опасаться было чего... Тот джигит русских офицеров, который по дороге сюда отстал от них как бы из страха перед враждебным народом (так именно должны были понять обычные здесь соглядатаи «народной партии»), на самом деле сделал это по приказу Садыка, старшего джигита русских, растворившись среди едущих на празднество, затесался здесь, в караван-сараяе, в собрание этой, народной партии». После чего шепнул что-то одному из тех, кому можно было довериться... Тот — слугам Ибрагим-бая...

Ибрагим бледным стал, как полотно, проговорил вслух:

— Эх, в недобрый, оказывается, час начинается праздник! Аллах, смилуйся над нами, пронеси беду! Ну да что ж теперь: все будет по воле Твоей.

И, явно через силу, вдруг оживился, хлопнул себя по бедрам, закричал:

— Ну, что же там копаются? Пусть начинают скорее!

Около ставки, между тремя распряженных арбами на поднятых кверху оглоблях был натянут большой ковер в виде шатра, полы которого достаточно прикрывали все то, что в нем происходило. Там мигали огоньки фонарей и копошилось несколько фигур, шелестя шелковыми тканями своих костюмов; оттуда сильно пахло мускусом и другими пряными ароматами Востока. Там была устроена артистическая уборная для батчей и машкарабазов<sup>2</sup>.

По вызову Ибрагим-бая полы шатра распахнулись. Показалась фигура мужчины с вымазанным саженом лицом. Это был старший машкарабаз. Он держал на руках мальчика лет двенадцати, одетого по-женски, с массой мелких косичек, украшенных бусами и побрякушками, выбивающимися пестрою бахромою из-под ярко вышитой золотом островерхой шапочки.

<sup>1</sup> Актеров (узб.).

<sup>2</sup> Плясунов и актеров.

При появлении батчи музыканты оглушительно грянули дробь. Машкарабаз три раза поднял мальчика высоко над головою и торжественно опустил его как раз на середину ковра. Батча ленивым движением рук оправил складки своей одежды, перегнулся тонким корпусом назад, выпрямился снова и медленно, едва передвигая босые ноги, начал первый круг...

Слуги и местные гости Ибрагим-бая захлопали в ладоши и прокричали обычное приветствие плясуну. Тот мало-помалу стал суживать свой круг, спиралью подвигаясь к центру ковровой арены.

— Зажигай! — крикнул распорядитель труппы.

Так именно поняли его крик русские: обе треноги затрещали и вспыхнули разом. Яркое маслянистое пламя, поднявшись двумя высокими столбами, далеко осветило кругом, словно споря своим заревом с багровым диском заходящего солнца. Но скоро этот диск погас, и огонь восторжествовал в ночи...

Конечно, вышло случайно, но случилось так, что именно после этого зажженного на тамаше Ибрагим-бая огня повсеместно поднялись такие же столбы пламени.

Всюду — в глубине священной роши, возле высоких стен мечети, под навесами караван-сараев — везде, где только были люди, загорелись мириады огоньков: красных, зеленых, белых... Все эти огоньки то группировались по нескольку, то разбегались врозь, сновали по всем направлениям, придавая общей картине что-то дикое, волшебное, полное чарующей силы и таинственности. Местами из густоты мрака, словно на бегу задетые фонарным лучом, выдвигались дорогие, расшитые золотом одежды, сменяясь то живописно пестрым тряпьем нищего, то металлическим блеском почти голого, словно бронзового тела... Густые столбы дыма костров, багрово освещенные снизу, причудливо клубясь, уходили во мрак ночи, снова появляясь, но уже выше, над кронами деревьев, тучами стелясь и нависая над гульбищем.

А сквозь прорези этого как бы пожарного дымного навеса там и сям сверкали звезды Юга. Да какие звезды! Слово бриллианты, нашитые на черное сукно, сверкающие всеми переливами радуги. Где-то кони взбесились... Сорвались с привязей и носятся между кострами, увеличивая общую суматоху. Их ловят... Кричат... Слышно дикое гиканье и щелканье плетей. Встревоженные ишаки подняли свой возмущающий душу рев. И все это: и звуки, и линии, и краски, свет и мрак, — все перепуталось, движется и меняется, как в гигантском калейдоскопе, мелькая в прудах и арыках своими опрокинутыми отражениями.

Между тем совсем рядом, оживляя было замершую в центре ковра-арены пляску батчи, как вроде однообразно, но все быстрее и громче, играли эти чет-

веро оркестрантов, захватывая в свой звучащий круг куда больше слушателей, чем только одних зрителей.

— Как по-твоему, Наль, это тоже — музыка? — обратился доктор к поручику Рубан-Опальному.

— Что ж... — не сразу ответил тот. — Музыка, на наш взгляд, дикая, как бы первобытная. Но, бесспорно, — музыка! Ничуть не худшая, чем у наших ротных песенников.

— То — свое! — отозвался Шолобов. — Песни свои наши солдаты из родных деревень принесли.

— Так и это *свое*... Для них. Да и для нас с тобою, Иван Алексеевич, поверь, не совсем это чужое.

— Ну вот, видишь ли, и для нас *свое*... — засмеялся доктор. — У тебя, Наль, люди, кажется, — все азиаты! По-твоему, и Шекспир, и Россини, и все здешние, и там, сам черт лысый... все одного рода?

Ответ Наль показался его товарищам странным. Точно так же вот путано-странно говорил он после своего *чуда* при Ак-Булаке.

— Люди... Они — люди везде! Но именно что *своего* рода... *нашего* рода — там, южнее... За теми горами, до которых мы скоро доберемся. И которые нас не оставят для прохода в Индию. Да нет, Иван Алексеевич, не смотри на меня так... Я не о той Индии говорю, которую уже покорили англичане. Они, англичане, эту Индию не смогут покорить. Мы же, русские, в настоящую Индию стремимся, ту, которую когда-то оставили... И которая ждет нас!

— Какой ты, Сергей Николаевич, опять восторженный, — сказал Шолобов. — Я уже боюсь за тебя, когда ты становишься таким...

— Компресс бы ему сейчас, — буркнул доктор, шаря рукою по подносу с фисташками и выбирая которые больше растрескались...

Наль провел рукою по своему лицу, снимая этим движением и фуражку, и сел вплотную рядом с Шолобовым.

— Со мною, ты прав... что-то очень неладно! — шепнул он ему.

— Опять? Ну, полно, право! Нервничаешь как баба...

— Нет, я говорю серьезно. Ты ведь меня знаешь. Я уверен, что с нами, нет, со мною, собственно, сегодня должно случиться что-нибудь особенное. Сегодня начало этого, мною чувствуемого, но еще неясного, далекого...

— Чего же именно?

— Не знаю... Я буду далеко-далеко от вас всех!

— В плен, что ли, попадешься?

— Нет, я буду свободен, как птица, как воздух...

— Убьют, что ли?

— Нет, не то.

— Н-да... Хочешь? — Шолобов отстегнул фляжку со своей «полынной» и протянул Налю.

— Смотри! — Наль отвел его руку и отшатнулся назад, словно увидел нечто поразившее его. Пристально

стал всматриваться в темный промежуток между исковерканными временем, изрытыми дуплами стволами ближайших карагачей.

Там показалась высокая, белая фигура старика — мелькнула в луче красного света костра и скрылась.

— Его уже второй раз я вижу! — прошептал он.

— Здесь?

— Нет, первый раз тогда, помнишь? Сегодня — второй!

— Я тебя больше брать с собою никуда не буду, — полусерьезно произнес капитан. — Ты как увидишь эту *суть-то азиатскую*, сейчас бредить начинаешь. Брось. Право!

— А на Ак-Булате тоже я бредил?

— Ну, что же? — капитан пожал плечами. — Это просто случайность и ничего больше. Все старики здесь... один на другого похожи. Пустяки!

Отплясавшего тем временем батчу сменил фокусник-огнеглотатель. Этот делал вид, что с наслаждением глотает маленькие горячие угольки, и потом, кривляясь и прыгая, изрыгал изо рта целые фейерверки. Зрители хлопали в ладоши и ревели от восторга.

Понравилось зрелище и казакам.

— Загуляла Азия! — одобрил один, вытирая сальные от плова руки о кожаные шаровары: ложек здесь не полагалось.

— Расходились, лешие! — одобрил и другой.

Но третий — сказал:

— А только Касимка-то неладное доложил...

— Что такое?

— Видели небось — отстал давеча Касимка? Узнал он в народе, что людишки Алем-Кула появились. И тут, значит, это гулянье против нас повернуть...

— То-то Ибрагим наш приуныл. Видит ли капитан, каким наш хозяин стал... Доложить, что ли?

— Сам... уже смекает. Я его знаю. Все сам чувствует. Зоркий. Шепнул мне давеча: «Дементьев, гляди в оба, держись к коням ближе: волк под горою...»

— Эвона! Гляди, какой сыч на церкву полез!

В самом деле... На полуразрушенном куполе мечети освещенная заревом огней появилась странная человеческая фигура. Это, как сразу можно было догадаться, был *дивона* — с факелом в руке, в ярких лохмотьях, весь обвешанный предметами своей профессии: выдолбленными тыквянками, связками амулетов и металлических побрякушек, ножами всех видов и размеров, — все это колыхалось и, наверное, дребезжало при каждом его движении<sup>1</sup>. На голове торчала

высокая коническая шапка, опушенная внизу бараньим мехом. Обнаженная, сухая, как у мумии, грудь носила следы глубоких порезов и увечий, наносимых в минуты религиозного вдохновения. Лицо также было изборождено шрамами.

И так ярко этот фанатик был сейчас освещен светом своего факела, что было видно, каким сумасшедшим, исступленным блеском горели его глаза! Другая же рука дивоны потрясала над головой громадным бубном, звон которого влетался вниз в сухой треск сотен костров и факелов.

Как вдруг... Дивона завопил, покрыв этим диким звуком все, что слышно было кругом, подпрыгнул, завертелся, изобразив из себя нечто вроде громадного, пестрого волчка, и — ринулся вниз. Глухо хлопнулось его тело о сухую, утрамбованную тысячами ног глинистую почву...

В толпе пронесся словно рокот далекой грозы. Многие кинулись к разбившемуся. Благоговейно, в тишине, окружили еще содрогавшееся тело...

— Очистительную жертву принес! — прошептал Ибрагим-бай.

Всадник в черной бараньей шапке появился перед ставкою, соскочил со взмыленного коня и почтительно приложил руку ко лбу.

Это был любимый капитанский джигит, Юнус, на его груди блестили два георгиевских крестика и медаль.

— Тюра<sup>2</sup>, — обратился он. — Я сейчас с Алты-арыка... Чуть не попался! Там стоят передовые войска муллы Алем-Кула. Сам мулла с войском в двух переходах отсюда. Что прикажешь делать?

— Ступай... Ешь плов и пей чай! — хладнокровно ответил капитан. — Коня своего вели джигитам выводить хорошенько!

— Одна-ако! — протянул доктор. — Ведь это мы влетели!

— Пока еще не совсем!

Наль пододвинулся к Ибрагим-баю. Тот сидел, видимо, под гнетом всего происходящего, был бледен, шептал молитвы...

— Ибрагим, — начал Наль. — Мы твои гости!

— Милостью и благодатью ко мне Бога! — отвечал тот, избегая упорно направленного на него взгляда.

— Мы твои гости! — повторил молодой офицер, выразительно подчеркивая каждое слово.

— Моя голова прежде свалится к ногам вашим, чем оружие врагов коснется кого-либо из вас!

— Утешения мало, — философски заметил доктор. — Что же мы, однако, медлим? К черту эту тамашу! На коней — да удирать скорей!

<sup>1</sup> В языках среднеазиатских народов этого слова (дивона) не было, русские переняли его от воюющих в Афганистане англичан (divon), так называли там мусульманских проповедников, отличающихся юродством и провидением одновременно.

<sup>2</sup> Начальник (узб.).

Однако Шолобов, только недавно отдавший было распоряжение о подготовке коней, вдруг задумался. И кажется, уже о другом...

— Нет, удирать уже прошло время, — наконец проговорил он. — Теперь надо выкручиваться иначе. Если мы сейчас тронемся в путь, мы и двух верст не сделаем! — Сказал такое негромко, как вдруг встал, сделал несколько шагов в сторону музыкантов: мол, это он, русский начальник, по догадке возможных во-круг соглядатаев, удивился: тому, что перестали плясать батчи (те замерли, потрясенные очистительной жертвой дивоны).

— Ибрагим-бай! — громко крикнул он, русский начальник, хозяину, принявшему их, гостей, в своей ставке. — У тебя здесь очень хорошо: мы здесь ночуем. Просим тебя приказать поставить нам палатку и приготовить постели.

— Что это? — доктор кивнул Налю на капитана. — С ума он сошел? Ты вон только в Индии своей успокоиться хочешь, а он — уже здесь... в постели. Боюсь только, что здесь успокоимся мы навсегда.

— Капитан знает, что делает, — строго, будто старший младшему, ответил поручик Рубан-Опальный. — Сказал вполголоса, но затем, хотя и не так громко, как Шолобов, однако в наступившей тишине достаточно, чтобы его услышали многие, спросил сам: — Ибрагим-бай, что это они у тебя все остановились? И слушать некого и не на кого смотреть.

Он, Сергей Николаевич, сказал как вроде правду: без музыки нет и танцев. И как бы готовясь еще внимательнее смотреть и слушать, уселся на ковре поудобнее, вполне по-азиатски скрестив ноги. Конечно же, понял он, что совсем не зря Шолобов так громко и в то же время так спокойно, чуть ли не зевая, изъявил желание сразу же после представления отойти ко сну. А только... Вглядываясь сейчас в одного из батчей, понял он и то, что в другой сейчас своей догадке сможет он убедиться только во время их пляски.

Хлопнул-крикнул Ибрагим-бай музыкантам, те заиграли вновь — и опять именно что оживились было застывшие батчи.

Один из них выделялся особенно. Каждое движение его отличалось грацией совсем не мужскою... Батча этот все время скрывал свое лицо за широким рукавом рубахи, и только одни глаза, красивые, черные, как угольки, виднелись между рукавом и металлическими подвесками шапочки, закрывавшими даже самые брови. Двое из его товарищей, утомленные продолжительною пляскою, отошли и сели рядом с музыкантами; этот еще продолжал, медленно кружась, легко переступая по ковру босыми ногами с подвязанными у щиколоток лентами с бубенчиками.

Что-то знакомое, близкое почувствовал Наль в этих глазах, устремленных прямо на него.

Вдруг этот батча, описывая в танце круг, оказался рядом с ним, Налем, и сел к нему на колени, обняв его шею рукой.

Собственно, такое не было странным. Батчей любят в народе, а когда кто-то из них проявляет внимание к кому-либо из зрителей, так тому даже лестно, что общий любимец выделил из всех именно его.

Однако Наля сейчас взволновало другое: ощутил он у себя на коленях теплоту женщины — художавую, юркую, как змейка, любимицу свою — в облаке грубого, но теперь всегда волнующего его аромата розового масла...

— Гуль-Гуль?

— Спасайтесь! — шепнул батча, сорвался со своего места и опять закружился в танце.

Наль еще приходил в себя, когда опять, громкий и спокойный, раздался голос капитана Шолобова:

— А вот и палатка готова! Прекрасно. Ибрагим-бай, спасибо за угощение и забаву. Распусти свой театр. Завтра, чем свет, тронемся в обратный путь. Лошади наши расседланы? Задать им корм, пусть отдыхают тоже...

Продолжение следует.